ЭЛИЗАБЕТ ГАСКЕЛЛ

КРЭНФОРД

Элизабет Гаскелл

Крэнфорд

«Public Domain»

1853

Гаскелл Э.

Крэнфорд / Э. Гаскелл — «Public Domain», 1853

«Во-первых, Крэнфорд находится во владении амазонок; все, нанимающие квартиру выше известной платы – женщины. Если новобрачная парочка приезжает поселиться в город, мужчина каким бы то ни было образом исчезает; или он перепугается до смерти, что, кроме него нет никого из мужчин на крэнфордских вечеринках, или отсутствие его изъясняется тем, что он должен находиться при своем полку, на своем корабле или заниматься всю неделю делами в большом, соседнем торговом городе Дрёмбле, отстоящем от Крэнфорда только на двадцать миль по железной дороге…»

© Гаскелл Э., 1853
© Public Domain, 1853

Содержание

Часть первая 5
I. Наше общество 5
II. Капитан 11
III. Старинная любовь 19
IV. Визит старому холостяку 24
Конец ознакомительного фрагмента. 30

Элизабет Гаскелл
Крэнфорд

Часть первая

I. Наше общество

Во-первых, Крэнфорд находится во владении амазонок; все, нанимающие квартиру выше известной платы – женщины. Если новобрачная парочка приезжает поселиться в город, мужчина каким бы то ни было образом исчезает; или он перепугается до смерти, что, кроме него нет никого из мужчин на крэнфордских вечеринках, или отсутствие его изъясняется тем, что он должен находиться при своем полку, на своем корабле или заниматься всю неделю делами в большом, соседнем торговом городе Дрёмбле, отстоящем от Крэнфорда только на двадцать миль по железной дороге. Словом, что бы ни случалось с мужчинами, только их нет в Крэнфорде. Да что им там и делать? Доктор объезжает своих больных на тридцать миль в окружности и ночует в Крэнфорде; но не всякий же мужчина может быть доктором. Чтоб содержать красивые сады, наполненные отборными цветами, без малейшей дурной травки, чтоб отгонять мальчишек пристально-смотрящих на эти цветы сквозь забор, чтоб спугнуть гусей, пробирающихся в сад, если калитка отворена, чтоб решать все вопросы литературные и политические, не смущая себя ненужными причинами или аргументами, чтоб узнавать ясно и правильно дело всех и каждого в провинции, чтоб содержать своих опрятных служанок в удивительном повиновении, чтоб быть добрыми (несколько повелительно) к бедным и оказывать друг другу нежные услуги в несчастии, слишком достаточно одних женщин для Крэнфорда.

– Мужчина, как одна из них заметила мне однажды, всегда такая помеха в доме.

Хотя крэнфордским дамам известны поступки друг друга, они, однако ж чрезвычайно равнодушны к мнению друг друга. Действительно, так как каждая обладает своей собственной индивидуальностью, чтоб не сказать эксцентричностью, порядочно сильно развитою, то ничего не может быть легче, как платить колкостью за колкость; но какая-то благосклонность царствует между ними в весьма значительной степени.

Крэнфордские дамы имели только одну случайную ссору, разразившуюся несколькими язвительными словами и колкими киваньями головой, именно на столько, чтоб не допустить ровный ход жизни сделаться слишком однообразным. Одежда их совершенно независима от моды. Они говорят:

– Что за беда, как бы ни одевались мы в Крэнфорде? ведь здесь всякий нас знает.

А если они выезжают из Крэнфорда, то причина их равносильно-убедительна:

– Что за беда, как бы мы ни одевались там, где никто нас не знает.

Материалы, из которых сделана их одежда, вообще хороши и просты; но я отвечаю, что последние огромные рукава на китовых усах и последняя узкая натянутая юбка, в Англии, были видимы в Крэнфорде и видимы без улыбки.

Я могу указать в одном великолепном семействе на красный шелковый зонтик, под которым премиленькая девица, оставшаяся одна от многочисленных братцев и сестриц, обыкновенно отправлялась в церковь в дождливую погоду. Есть ли хоть один красный шелковый зонтик в вашем городе? У нас сохранилось предание о первом таком зонтике, виденном в Крэнфорде; мальчишки с громкими криками указывали на него пальцами и называли: «палкой в юбке». Может быть, это был тот самый красный шелковый зонтик, описанный мною,

который некогда держал сильный отец над толпой деточек; бедненькая девушка, пережившая всех, насилу может с ним сладить.

Здесь есть правила и постановления для церемониальных визитов и визитов запросто, и они объявляются всем молодым людям, приезжающим в Крэнфорд, со всей той торжественностью, с какою старинные мэнские законы читались раз в год на Тинвальдской Горе[1].

– Друзья наши прислали осведомиться, как вы себя чувствуете после путешествия, душенька (пятнадцать миль в покойной коляске); они дадут вам отдохнуть завтрашний день, а послезавтра, я уверена, они приедут; так будьте же свободны после двенадцати часов; от двенадцати до трех ваши приемные часы.

Потом после посещений:

– Сегодня третий день; вероятно, ваша маменька вам говорила, душенька, что никогда не надо пропускать более трех дней между визитом и контрвизитом и также, что вам не надо оставаться более четверти часа с визитом.

– Но разве я могу смотреть на часы? Каким образом я узнаю, что прошло четверть часа?

– Вы должны помнить время, душенька, и не позволить себе забыть его в разговоре.

Так как каждая держит в памяти это правило, принимая или делая визиты, то, разумеется, никогда не говорится о каком-нибудь серьёзном предмете. Мы держимся кратких фраз отрывистого разговора и пунктуально наблюдаем время.

Я думаю, что многие из крэнфордской знати бедны и не без труда сводят концы с концами; но они похожи на спартанцев: они скрывают горе под улыбающимся лицом. Никто из нас не говорит о деньгах, потому что этот предмет отзывается торговлей и ремеслом, и хотя между нами есть бедные, однако мы все аристократки. Крэнфордианки имеют этот дружественный esprit de corps, заставляющий их не обращать внимания на неуспех некоторых старающихся скрывать свою бедность. Когда мистрисс Форрестер, например, давала вечер в своем жилище крошечном, как игрушечный домик, и маленькая служанка беспокоила дам, сидевших на диване, просьбой позволить ей достать поднос из-под дивана, все приняли этот новый образ действия за самую натуральную вещь на свете и говорили о домашних формах и церемониях, как будто мы все верили, что у нашей хозяйки есть настоящая людская, второй стол[2], ключница и дворецкий, вместо небольшой девчонки для прислуги. Маленькие красные ручонки этой девочки не сладили бы отнести поднос наверх, если б ей не помогала сама хозяйка, которая теперь чинно сидела, притворяясь будто не знает какое пирожное ей прислали из кухни; хотя она знала и мы знали, и она знала, что мы знали, а мы знали, что она знает, что мы знаем, как она целое утро была занята стряпаньем пирожков к чаю.

От этой всеобщей, но непризнаваемой бедности, и этого весьма признаваемого аристократизма происходят несколько последствий, которые недурно бы ввести в многие круги общества к их великому улучшению. Например: жительницы Крэнфорда уходят из гостей рано, стучат калошами по улице, в сопровождении служанки с фонарем около девяти часов вечера; и целый город лежит в постели и спит в половине одиннадцатого. Кроме того, считается «пошлым» (слово ужасное в Крэнфорде) подавать что-нибудь дорогое на вечерних угощениях. Вэфли, хлеб с маслом и сухари – вот все, что подавала её сиятельство мистрис Джемисон, а она невестка покойного графа Гленмайр, хотя отличается такой «изящной экономией».

«Изящная экономия!» Как естественно впадаешь в крэнфордскую фразеологию! Здесь экономия всегда была «изящной», и расточительность всегда «пошлостью и чванством» – что-то в роде зеленого винограда, делающего нас спокойными и довольными. Я никогда не забуду всеобщего смущения, когда некий капитан Броун приехал жить в Крэнфорд и открыто говорил

---

[1] Остров «Мэн» между Англией и Ирландией, где жители некогда собирались раз в год слушать публичное чтение законов. *Примеч. перев.*

[2] В Англии в знатных домах есть обыкновенно несколько столов с разными подразделениями. Первый для господ, второй для ключницы и дворецкого, третий для слуг низшего разряда и т. д. *Примеч. перев.*

о своей бедности – не шепотом, не короткому приятелю, старательно заперев окна и двери – но на улице, громким воинским голосом, ссылаясь на свою бедность как на причину, что он не может нанять такого-то дома. Крэнфордские дамы уже несколько тужили о вторжении в их владения мужчины, да еще джентльмена. Он был капитан на половинном жалованьи и получил место на соседней железной дороге, против которой было подано прошение в парламент от маленького городка; а если еще в добавок к своему мужскому роду и соотношению к противной железной дороге, он был так бесстыден, что говорил о своей бедности – ну, тогда, точно, его не надо принимать нигде. Смерть так же истинна и так же обыкновенна как бедность; однако о ней никогда не говорилось громко на улицах. Это было слово непроизносимое для благовоспитанных ушей. Мы безмолвно согласились не знать, что тех, с которыми мы соединены общественными связями, не допускала бедность делать то, что они желали. Если мы шли пешком с вечера или на вечер, это потому, что ночь была *так* прекрасна или воздух *такой* освежительный, а не потому, что портшезы стоили дорого. Если мы носили ситцевые, а не шелковые платья, это потому, что мы предпочитали вещи, которые моются; и все таким образом, покуда не ослепили самих себя насчет того пошлого обстоятельства, что все мы люди с весьма умеренными средствами. Стало-быть, мы не знали, что нам делать с мужчиной, который мог говорить о бедности так, как будто она не была для него бедствием. Однако, каким бы то ни было образом капитан Броун заставил уважать себя в Крэнфорде, и все сделали ему визиты, несмотря на намерение не делать их. Я удивилась, услышав, что его мнения приводятся как авторитет, приехав в Крэнфорд год спустя после того, как он поселился в городе. Друзья мои были самыми горькими оппонентами против всякого предложения посетить капитана и его дочерей, только за двенадцать месяцев перед тем, а теперь его принимали даже в возбраненные часы, до двенадцати. Конечно, это было затем, чтоб узнать, почему дымится камин прежде чем его затопят; но все-таки капитан Броун ходил по дому неустрашимо, говорил голосом слишком громким для комнаты и шутил совершенно как домашний человек. Он был слеп ко всем маленьким пренебрежениям и упущениям тривиальных церемоний, с которыми его приняли. Он был исполнен дружества, хотя крэнфордские дамы были холодны; отвечал на саркастические комплименты добродушно и своей мужской откровенностью пересилил всю неприязнь, встреченную им как человеком, который не стыдится своей бедности. Наконец, его превосходный мужской здравый смысл и способность придумывать способы к решению домашних затруднений, приобрели ему авторитет между крэнфордскими дамами. Сам он продолжал идти своей дорогой, также не замечая своей популярности, как прежде не замечал противного; и я уверена, что он изумился однажды, найдя совет свой так высокоценимым, совет, данный в шутку и принятый чрезвычайно серьёзным образом.

Вот в чем было дело: у одной старой дамы, была альдернейская[3] корова, которую она любила как дочь. Вы не могли сделать ей самого короткого визита, чтоб вам не рассказали об удивительном молоке или об удивительной понятливости этого животного. Целый город знал и ласково смотрел на любимицу мисс Бетти Баркер; следовательно, велики были симпатия и сожаления, когда, в неосторожную минуту, бедная корова провалилась в яму с негашеной известью. Она застонала так громко, что ее скоро услыхали и спасли; но все-таки бедная потеряла много шерсти и была вытащена почти голою, холодною, в самом бедственном положении, с обнаженной кожей. Все жалели о корове, хотя немногие могли удержать улыбку при её смешной наружности. Мисс Бетти Баркер решительно заплакала от горя и беспокойства и говорила, что она думала попробовать сделать корове ванну из деревянного масла. Может быть, это средство посоветовал кто-нибудь из тех, к кому она прибегала за советом; но предложение это было совершенно убито решительными словами капитана Броуна:

[3] С острова Альдерней привозятся коровы, пользующиеся такою же известностью, как у нас холмогорские. *Прим. перев.*

«Наденьте на нее фланелевую фуфайку, если хотите сохранить в живых. Но мой совет: тотчас убить бедняжку».

Мисс Бетти Баркер отерла глаза, с чувством поблагодарила капитана; принялась за работу и через несколько времени весь город толпился на улице, чтоб видеть альдернейскую корову, кроткоидущую на пастбище в темно-серой фланели. Я сама видела ее несколько раз… Видали ли вы когда-нибудь коров, одетых в серую фланель?

Капитан Броун нанял небольшой домик в предместьи города, где жил с двумя дочерями. Ему, должно быть, было более шестидесяти в то время, когда я в первый раз посетила Крэнфорд после моего переселения из него. Но у него был мощный, мускулистый, упругий стан; голову он держал прямо, ходил живо и все заставляло его казаться моложе своих лет. Старшая дочь его на вид была так же стара, как и он, и открывала тайну: он был старше чем казался. Мисс Броун, должно быть, было лет пятьдесят; она имела болезненное, мучительное, озабоченное выражение в лице; казалось, что веселость молодости давно исчезла у ней с лица. Но даже и в молодости она должна была иметь безобразные и грубые черты. Мисс Джесси Броун была десятью годами моложе сестры и лучше её в двадцать раз. Лицо её кругло, с ямочками. Мисс Дженкинс сказала однажды, рассердившись на капитана Броуна (а за что, я сейчас вам расскажу), что она полагает, мисс Джесси уж пора оставить свои ямочки и не пытаться целый век казаться похожей на ребенка. Это правда; в лице её было что-то детское и будет, я полагаю, до самой её смерти, проживи она хотя сто лет. Глаза её огромны, вечно чему-то удивляются, голубые, прямо-смотрящие на вас; нос некрасивый, вздернутый; губы красны и влажны; она носит волосы небольшими рядами буклей, подкрепляющих эту детскую наружность. Не знаю, была ли она хороша, но её лицо нравилось и мне и всем, и не думаю, чтоб она была виновата в своих ямочках. У ней было что-то отцовское в привлекательности походки и приемов, и каждый наблюдатель женского рода миг открыть легкое различие в одежде двух сестер; наряд мисс Джесси стоил двумя фунтами в год дороже наряда мисс Броун. Два фунта были огромной суммой в годовых расходах капитана Броуна.

Таково было впечатление, сделанное на меня семейством Броунов, когда я в первый раз увидела их в крэнфордской церкви. Капитана я встречала прежде, по случаю дымящегося камина, который он исправил простым изменением в трубе. В церкви он держал у глаз двойной лорнет во время утреннего гимна, а потом прямо поднял голову и пел громко и внятно. Он читал отповеди громче дьячка, старика с пискливым, слабым голосом, который, я полагаю, обижался звучным басом капитана и поэтому затягивал все выше-и-выше.

При выходе из церкви, бодрый капитан оказал самое любезное внимание двум дочерям своим. Он кивал и улыбался знакомым, но не подавал руки никому до тех пор, покуда не помог мисс Броун распустить зонтик, не освободил её от молитвенника и терпеливо не подождал покуда она дрожащими, нервными руками, приподнимет платье, чтоб пройти по мокрой дороге.

Я желала знать, что крэнфордские дамы делали с капитаном Броуном на своих вечеринках? Мы часто радовались в прежнее время что не было мужчин, за которыми надо ухаживать и придумывать разговор за карточными партиями. Мы поздравляли себя с интимностью наших вечеров и с нашей любовью к аристократизму, и с несочувствием к мужскому роду, мы почти уверили себя, что быть мужчиной значит быть «пошлым»; так что, когда я узнала, что моя приятельница и хозяйка мисс Дженкинс собиралась дать для меня вечер и капитан с дочерями был приглашен, я ломала голову, желая знать, что может происходить на этом вечере? Ломберные столы, покрытые зеленым сукном были поставлены еще до сумерек, по обыкновению; ноябрь был в исходе; начинало смеркаться около четырех часов. Свечи и новенькие колоды карт были приготовлены на каждом столе. Камин разведен; опрятная служанка получила последние наставления, и вот мы, нарядившись как можно лучше, и каждая с зажигательной спичкой в руках, стояли наготове разом зажечь свечи, как только послышится первый

стук. Крэнфордские вечеринки были торжественными празднествами; дамы чванно сидели в лучших своих нарядах. Как только приехали трое, мы сели за преферанс; я была, по несчастью, четвертая. Приехавших вслед за тем четверых немедленно усадили за другой стол и тотчас чайные подносы, которые я видела выставленными в кладовой, проходя мимо утром, были поставлены в средине каждого карточного стола. Фарфор был превосходный и тончайший, старомодное серебро сияло чистотой; но съедаемое было весьма легкого свойства. Пока подносы были еще на столах, явились капитан и обе мисс Броун, и я могла приметить, что капитан был любимцем всех присутствовавших тут дам. Нахмуренные лбы разгладились, колкие голоса понизились при его приближении. Мисс Броун казалась нездорова и уныла почти до мрачности. Мисс Джесси улыбалась, как обыкновенно, и казалась почти столько же любима как и её отец. Он немедленно и преспокойно присвоил себе мужское место в комнате; услуживал каждому, избавлял от труда хорошенькую служанку, наблюдая за опорожненными чашками и дамами без бутербродов, и делал все это так свободно, так благородно, показывая, что сильному ухаживать за слабым дело обыкновенное, что был истинным мужчиной во всем. Он играл по три пенни поэн с таким же сильным интересом, как будто это были не пенни, а фунты, и между тем, при всем своем внимании к посторонним, наблюдал за больною дочерью, потому что она была больна – я в том уверена, хотя многим могла показаться только раздражительной. Мисс Джесси не играла в карты, но разговаривала с той дамой, которая ожидала своей очереди в игре, и до её прихода была несколько наклонна к брюзгливости. Она также пела, аккомпанируя себе на старом расстроенном фортепьяно, бывшем, я полагаю, клавикордами во время своей юности. Мисс Джесси пела шотландскую песню не совсем согласно, но из нас никто не был музыкантшей, хотя мисс Дженкинс била такт не совсем впопад, чтоб показать, будто она знает толк в музыке.

Со стороны мисс Дженкинс это было очень хорошо, потому что я видела, как за несколько времени перед тем, она была оскорблена неосторожным признанием мисс Джесси Броун (по случаю шотландской шерсти), что её дядя, брат матери – лавочник в Эдинбурге. Мисс Дженкинс пробовала замять это признание сильным кашлем, потому что её сиятельство мистрисс Джемисон сидела за карточным столом ближе всех к мисс Джесси – и что бы она сказала или подумала, узнав, что находилась в одной комнате с племянницей лавочника! Но мисс Джесси Броун (у которой не было такта, как мы все согласились на следующее утро) все-таки упорно повторила мисс Поль, что она может легко достать ей точно такую же шотландскую шерсть, какую ей было нужно: «через моего дядю, у которого самый лучший выбор шотландских товаров в Эдинбурге». Для того-то, чтоб заставить нас заесть эту горькую пилюлю и изгладить звук этих слов в нашем слухе мисс Дженкинс и предложила заняться музыкой; поэтому, и говорю опять, очень хорошо было с её стороны бить такт пению.

Когда подносы явилась снова с бисквитами и вином, аккуратно без четверти в девять начался разговор об игре и взятках, но вскоре капитан Броун вставил словечко о литературе.

– Видели вы выпуски «Записок Пиквикского Клуба?» сказал он. (Они тогда издавались выпусками). – Капитальная вещь!

Мисс Дженкинс была дочерью умершего крэнфордского пастора и, основываясь на нескольких рукописных проповедях и порядочной библиотеке из духовных книг, считала себя почти ученой и смотрела на всякий разговор о книгах, как на лично к ней обращенный вызов. Поэтому она и отвечала:

– Да, видела, даже могу сказать, читала.

– А что вы о них думаете? спросил капитан Броун: – не отличнейшая ли это вещь?

Понуждаемая таким образом мисс Дженкинс не могла не отвечать:

– Могу сказать, не думаю, чтоб они могли сравняться с сочинениями доктора Джонсона. Может быть, еще автор молод. Пусть его продолжает; кто знает, что из него выйдет, если он возьмет себе за образец великого доктора.

Это очевидно было уж слишком для капитана Броуна. Он не мог перенести спокойно, и я видела, как слова вертелись у него на языке, прежде чем мисс Дженкинс окончила свою фразу.

– Это вещь совершенно – другого рода-с! начал он.

– Я очень это знаю, отвечала она: – и поэтому-то не слишком взыскательна, капитан Броун.

– Позвольте мне прочесть вам сцену из нынешнего нумера, упрашивал он: – и получил его только сегодня утром, и не думаю, чтоб здешнее общество успело уже его прочесть.

– Если вам угодно, сказала она, садясь с видом покорности.

Он прочел описание «вечера», который Сэм Уэллер давал в Бате. Некоторые из нас смеялись от души. Я не смела, потому что жила у мисс Дженкинс, которая сидела с терпеливой важностью. Когда капитан кончил, она обернулась ко мне и сказала с кротким спокойствием:

– Принесите мне «Расселаса», душенька, из библиотеки.

Когда я принесла, она обернулась к капитану Броуну:

– Теперь позвольте *мне* прочесть вам сцену, и тогда пусть общество судит между вашим любимцем, мистером Боцем, и доктором Джонсоном.

Она прочла величественным пискливым голосом разговор между Расселасом и Имелаком и, кончив, сказала:

– Полагаю, что теперь предпочтение, отдаваемое мною доктору Джонсону, как романическому писателю, оправдано.

Капитан закусил губы и забарабанил по столу, но не сказал ничего. Она подумала, что может нанести окончательный удар.

– Я считаю пошлостью и совсем не литературным достоинством издавать сочинения выпусками.

– А как был издан «Странник?» спросил капитан Броун тихим голосом, который, я полагаю, мисс Дженкинс слышать не могла.

– Слог доктора Джонсона должен служить образцом для начинающих писателей. Отец мой велел мне ему подражать, когда я начала писать письма. Я образовала по нем свой собственный слог; советую сделать то же вашему любимцу.

– Мне было бы очень жаль, если б он переменил свой слог на такой напыщенный, сказал капитан Броун.

Мисс Дженкинс сочла это личной обидой в таком смысле, о котором капитан и не воображал. В эпистолярном слоге она сама и друзья её считали ее весьма сильной. Множество копий с множества писем видела я написанными и поправленными на аспидной доске прежде, чем она «воспользовалась остававшимся до почты получасом», чтоб уверить своих друзей в том-то или в этом-то, и доктор Джонсон был, как она сказала, её образцом в этих сочинениях. Она выпрямилась с достоинством и отвечала только на последние замечания капитана Броуна, но с заметной выразительностью на каждом слове:

– Я предпочитаю доктора Джонсона мистеру Боцу.

Говорят (не ручаюсь за справедливость), будто капитан Броун сказал sotto voce:

– Черт побери доктора Джонсона!

Если он сказал это, то раскаялся впоследствии. Он стал возле кресел мисс Дженкинс и пытался обольстить ее разговором о некоторых приятных предметах, но она была неумолима. На следующий день ока сделала, упомянутое мною выше замечание, о ямочках мисс Джесси.

II. Капитан

Невозможно было прожить месяц в Крэнфорде и не знать ежедневных привычек каждого обитателя; задолго до окончания моего посещения, я знала многое относительно броуновского трио. Ничего нового нельзя было открыть касательно их бедности, потому что они говорили об этом просто и открыто с самого начала. Они не делали тайны из своей необходимости быть экономными. Оставалось только открыть бесконечную доброту сердца капитана и разнообразные способы, которыми он, бессознательно для себя самого, обнаруживал ее. Рассказывались маленькие анекдоты об этом вскоре после того, как случались. Так как мы читали немного и так как все дамы были довольны своими служанками, то в предметах к разговору был недостаток страшный. Мы, вследствие этого, разбирали обстоятельство о капитане, взявшем из рук бедной старухи её ношу в одно ненастное воскресенье. Он встретил ее возвращающуюся с рынка, когда шел из церкви, и приметил её неверную походку; с важным достоинством, с которым он делал все, освободил ее от ноши и отправился вдоль по улице с нею рядом, донеся её овощи бережно домой. Это сочли очень эксцентричным и надеялись, что в понедельник утром он сделает визиты, чтоб изъяснить и извиниться в преступлении против крэнфордского приличия, но он этого не сделал; и тогда было решено, что ему стыдно и он прячется. В ласковой жалости к нему мы начали говорить:

– Впрочем, этот случай в воскресенье утром показывает большую доброту сердца; и решили, что капитана должно успокоить при первом его к нам появлении. Но, увы! он явился к нам без малейшего чувства стыда, говоря, как обыкновенно, громким басом, закинув голову назад, с париком таким же миловидным и завитым, как обыкновенно, и мы принуждены были заключить, что он забыл все относительно воскресенья.

Мисс Поль и мисс Джесси Броун заключили род короткости по случаю шотландской шерсти и нового вязанья. Так случилось, что когда я ходила посещать мисс Поль, я больше видела Броунов, чем во все то время, когда я гостила у мисс Дженкинс, которая никогда не могла прийти в себя от того, что она называла унизительными замечаниями капитана Броуна о докторе Джонсоне, как писателе легких и приятных романов. Я узнала, что мисс Броун была серьёзно-нездорова какой-то медлительной, неизлечимой болезнью, и мучительное ощущение этой болезни придавало чертам её то беспокойное выражение, которое я принимала за неутомимую брюзгливость. Она точно была брюзглива в то время, когда первая раздражительность причиняемая её недугом, превосходила её терпение. Мисс Джесси переносила эту брюзгливость даже гораздо терпеливее, нежели горькие упреки, которые больная делала себе всегда после этого. Мисс Броун привыкла обвинять себя не только в вспыльчивом и раздражительном характере, но также и в том, зачем отец и сестра были принуждены экономничать, чтоб доставить ей небольшую роскошь, необходимую в её положении. Она так охотно приносила бы им жертвы и облегчила бы их заботы, что врожденное благородство её характера прибавляло раздражительности к расположению её духа. Все это переносилось мисс Джесси и отцом более чем с кротостью, с совершенной нежностью. Я простила мисс Джесси её пение без такта, моложавость её одежды, когда увидела ее дома. Я приметила, что темный парик капитана Броуна и ватный сюртук (увы! чересчур поношенный) были остатками военного щегольства в его юности, которые он носил теперь бессознательно. Он был человек бесконечных ресурсов, приобретенных в его казарменной опытности. Как он сам признавался, никто не мог вычистить сапоги по его вкусу, кроме его самого; но, на самом деле он не считал унизительным избавлять служанку от трудов разного рода, зная, вероятно, что болезнь его дочери делала трудным это место.

Он пытался помириться с мисс Дженкинс вскоре после достопамятного спора, упомянутого мною, подарив ей деревянную лопаточку для камина собственной работы, он слышал,

что она говорила, как ей неприятен скрип железной. Она приняла подарок с холодной благодарностью и поблагодарила его формальным образом. Когда он ушел, она велела мне отнести лопатку в чулан, может быть, чувствуя, что подарок от человека, предпочитающего мистера Боца доктору Джонсону, не может быть приятнее для уха скрипа железной лопатки.

Таково было положение вещей, когда я уехала из Крэнфорда в Дрёмбль; у меня было, однако, несколько корреспонденток, которые рассказывали мне все, что происходило в милом городке. Мисс Поль начала так же прилежно заниматься тамбурным вязаньем, как некогда занималась вязаньем на иглах, и в конце каждого рассказа о новостях являлось новое поручение относительно тамбурной работы, которое я должна была исполнить для неё. Мисс Матильда Дженкинс, которая не обижалась, если ее называли мисс Мэтти, когда мисс Дженкинс тут не было, писала милые, ласковые, бессвязные письма; время от времени отваживалась высказывать свое собственное мнение, но вдруг останавливалась и просила меня не рассказывать того, что она сказала, потому что Дебора думает не так, а *она* знает лучше, или же, прибавляла в постскриптуме, что с тех пор, как она написала это, она говорила о том с Деборой и была совершенно убеждена, что, и прочее… (тут, по всей вероятности, должно было следовать отречение от всякого мнения, высказанного ею в письме). Потом писала ко мне мисс Дженкинс, Дебо́ра, как она любила, чтоб мисс Мэтти называла ее; отец её сказал однажды, что еврейское имя должно так произноситься[4]. Мисс Дженкинс носила галстук и небольшую шляпку, похожую на жокейскую шапочку, и вообще имела наружность женщины с сильным характером, хотя она презирала новейшие идеи о том, что женщины равны мужчинам. Равны, как бы не так! Она знала, что они гораздо выше. Но воротимся к её письмам. Все в них было величественно и грандиозно, подобно ей самой. Я только что пересматривала их (милая мисс Дженкинс, как я ее уважала!) и сделаю выписку более потому, что она относится к нашему другу капитану Броуну.

«Ея сиятельство мисс Джемисон только что меня оставила и во время разговора сообщила мне известие, что бывший друг её супруга, достопочтенный лорд Маулеверер вчера сделал ей визит. Вы не легко отгадаете, что привело милорда в пределы нашего небольшого городка. Желание видеться с капитаном Броуном, с которым, как кажется, милорд был знаком во время войны и который имел счастье отвратить погибель от головы милорда, когда какая-то великая опасность висела над нею на ложно-называемом Мысе Доброй Надежды. Вы знаете недостаток нашей сиятельной приятельницы мистрисс Джемисон относительно невинного любопытства и, следовательно, не будете очень удивлены, когда я скажу вам, что она была совершенно неспособна объяснить мне настоящее свойство сказанной опасности. Я беспокоилась, признаюсь, удостовериться, каким образом капитан Броун в своем маленьком жилище мог принять такого знатного гостя, и я узнала, что милорд отправился почивать, и будем надеяться, освежительным сном, в гостиницу Ангела; но разделял броуновскую трапезу в продолжение двух дней, в которые удостаивал Крэнфорд своим присутствием. Мистрисс Джонсон, жена нашего учтивого мясника, уведомила меня, что мисс Джесси купила четверть ягненка; но, кроме этого, я не слыхала ни о каких приготовлениях, для приличного приема такому знатному гостю. Может быть, они угощали его пиршеством разума и „ликованием души“; но для нас, знакомых с печальным недостатком вкуса капитана Броуна к „чистым источникам изящного английского языка“, это может послужить поводом порадоваться, что он имеет случай улучшить свой вкус, имея сношения с изящным и утонченным членом британской аристократии. Но кто свободен от некоторых мирских чувств?»

Мисс Поль и мисс Мэтти писали ко мне с этою же самою почтою. Такая новость, как посещение лорда Маулеверера, не могла быть потеряна для крэнфордских корреспонденток; это было сущей находкой для их писем. Мисс Мэтти смиренно извинялась, что пишет в одно

[4] Англичане обыкновенно произносят Де́бора, с ударением на первом слоге. *Примеч. перев.*

время с сестрой, которая была гораздо способнее её описать честь, сделанную Крэнфорду; но, несмотря на несколько дурное правописание, рассказ мисс Мэтти дал мне лучшее понятие о волнении, причиненном посещением милорда; потому что, исключая людей в гостинице Броунов, мистрисс Джемисон и мальчишки, которого милорд разбранил за то, что он подкатил грязный обруч под его аристократические ноги, я не слыхала ни о ком, с кем бы милорд разговаривал.

Следующее мое посещение в Крэнфорд случилось летом. С-тех-пор, как я там была, никто не родился, никто не умер, никто не женился. Все жили в тех же самых домах и носили почти все те же самые старательно-сберегаемые старомодные платья. Самое важное происшествие было то, что мисс Дженкинс купила новый ковер для гостиной. О, как трудились мы с мисс Мэтти, чтоб отстранить солнечные лучи, когда в одно после обеда упали они прямо на этот ковер в открытое окно! Мы разложили на него газеты и сели за книгу или за работу, и вот, через четверть часа, солнце передвинулось и лучи его ударяли на другое место; мы опять стали на колени, чтоб переложить газеты. Мы тоже очень трудились целое утро перед тем, как мисс Дженкинс давала вечер, следуя её наставлениям, разрезывая и сшивая вместе куски газетной бумаги, чтоб сделать маленькие дорожки к каждому креслу для ожидаемых гостей, чтоб башмаки их не запачкали или не загрязнили чистоту ковра. Делаете ли вы бумажные дорожки для каждого гостя?

Капитан Броун и мисс Дженкинс были не очень дружественны между собою. Литературный спор, которого начало я видела, был чувствительной струною, малейшее прикосновение к которой заставляло их вздрагивать. Это было единственное мнение, в котором они не сходились; но этого было довольно. Мисс Дженкинс не могла удержаться, чтоб не делать намеков о капитане Броуне; и хотя он не отвечал, однако барабанил пальцами, что она чувствовала и принимала за истинное унижение доктора Джонсона. Он несколько хвастался своим предпочтением к сочинениям мистера Боца; ходил по улицам до того погруженный в эти сочинения, что однажды наткнулся прямо на мисс Дженкинс; и хотя его извинения были усердны и искренни, хотя он на самом деле ничего не сделал, кроме того, что испугал ее и сам испугался: она признавалась мне, что лучше желала бы, чтоб он сбил ее с ног, только бы занимался чтением высшего литературного слога. Бедный, добрый капитан! он казался старше, утомленнее, и платья его были так изношены. Но он был весел как прежде, пока его не спросили о здоровье дочери.

– Она очень страдает и будет страдать еще больше; мы делаем все, что можем, для облегчения её мучений; да будет воля Божия!

Он взял шляпу при этих последних словах. Я узнала от мисс Мэтти, что действительно все было сделано. Призывали доктора, пользовавшегося большой известностью в наших окрестностях, и каждое его предписание было исполнено, несмотря на издержки. Мисс Мэтти была уверена, что они отказывали себе во многом для удобства больной, но никогда о том не говорила; а что касается до мисс Джесси: «Я точно думаю, что она настоящий ангел», сказала бедная мисс Мэтти, совершенно взволнованная. «Видеть, каким образом она переносит брюзгливость мисс Броун и с каким веселым лицом встает утром после целой ночи, во время которой переносила брань, просто восхитительно. Она так мило принимает капитана за завтраком, как будто спала целую ночь в постели королевы. Душенька! вы никогда уже не стали бы смеяться над её жеманными локончиками или её розовыми бантиками, если б видели ее так, как я.» Я могла только чувствовать сильнее раскаяние и смотреть на мисс Джесси с удвоенным уважением, когда встретилась с нею потом. Она казалась поблекшей и изнуренной, а губы её начали дрожать, как будто бы она была очень слаба, когда она говорила о своей сестре; но она просветлела и проглотила слезы, блиставшие в её милых глазах, когда сказала:

– Но, право, что за город Крэнфорд в отношении доброты! Я думаю, что если у кого-нибудь бывает обед получше обыкновенного, то самое лучшее блюдо отправляется в покрытой миске для моей сестры. Бедные люди оставляют самые ранние овощи у нашей двери для

неё. Они говорят резко и сурово, как будто стыдятся этого; но, право, их озабоченность часто проникает мне прямо в сердце.

Слезы воротились и потекли градом; но через несколько минут она начала бранить себя и ушла такою же веселенькой мисс Джесси, как всегда.

– Зачем, однако, этот лорд Маулеверер не сделает чего-нибудь для человека, который спас ему жизнь? сказала я.

– Ну, видите, может быть, у капитана Броуна есть на то какая-нибудь причина; он никогда не говорил ему о своей бедности и прогуливался с милордом с таким же счастливым и веселым видом, как принц; а как они никогда не привлекали внимания на свой обед извинениями, и как мисс Броун было в тот день лучше и все казалось весело, смею сказать, милорд не знал ничего о том, как много забот у них на заднем плане. Он присылал довольно часто дичь прошлой зимой, но теперь он уехал за границу.

Я часто имела случай приметить пользу, которая извлекалась из ничтожных предметов в Крэнфорде; розовые листья собирались прежде, чем упадали, чтоб сделать душистое куренье для тех, у кого не было сада; небольшие пучки лаванды посылались, чтоб усыпать ящики какого-нибудь городского обитателя, или зажигаться в комнате какого-нибудь больного. Вещи, которыми многие презрели бы, и дела, которые едва ли показались бы достойными исполнения, все наблюдались в Крэнфорде. Мисс Дженкинс утыкала сухой гвоздикой яблоко, чтоб надушить приятным образом комнату мисс Броун, и по мере того, как втыкала каждую гвоздику, она произносила фразу в джонсоновском вкусе. Точно она никогда не могла думать о Броунах, не говоря о Джонсоне; а так как теперь они беспрестанно были у ней в мыслях, то мне приходилось слышать порядочное количество длинных, высокопарных фраз.

Капитан Броун пришел однажды поблагодарить мисс Дженкинс за множество небольших одолжений, о которых я ничего не знала до тех пор. Он вдруг состарился; громкий бас его дрожал; глаза потускнели и морщины на лице сделались глубоки. Он не мог говорить весело о положении своей дочери, но разговаривал с мужественной, благочестивой покорностью и немного. Раза два он сказал:

– Чем Джесси была для нас, одному Богу известно!

И во второй раз торопливо вскочил, пожал всем руки, не говоря ни слова, и ушел.

В этот день мы приметили небольшие толпы на улице, слушающие с ужасом на лице какие-то рассказы. Мисс Дженкинс удивлялась, что бы это могло быть, прежде чем решилась на не совсем приличный поступок, то есть послать Дженни разузнать.

Дженни воротилась с лицом, побледневшим от ужаса.

– О, ма-ам! о, мисс Дженкинс! капитан Броун убит на этой гадкой, ужасной железной дороге, и она залилась слезами.

Она также со многими другими испытала доброту бедного капитана.

– Как?… где… где? Великий Боже! Дженни, не теряй времени на слезы, рассказывай нам скорее.

Мисс Мэтти тотчас выбежала на улицу и схватила за ворот человека, рассказывавшего эту историю.

– Пойдем… пойдем сейчас к моей сестре… мисс Дженкинс, дочери пастора. О! скажи, что это неправда, кричала она, притащив испуганного извозчика в гостиную, где он стал с мокрыми сапогами на новый ковер и никто не обращал на это внимания.

– Эвто, сударыня, правда-с. Я сам эвто видел, и он задрожал при воспоминании. – Капитан вишь читал какую-то новую книгу и глаз с ней не сводил, ожидая машины из Лондона, и вот маленькая девчоночка вздумала отправиться к своей маменьке, вырвалась от сестры да прямёшенько марш через рельсы. Он вдруг поднял голову при звуке подъезжавшей машины, увидел ребенка, бросился на рельсы и схватил его, нога поскользнулась и машина как раз проехала через него. О, Господи, Господи! Это истинная правда, ваше благородие, и сейчас послали

сказать дочерям. Ребенок невредим, только ушибся плечом в то время, как он бросил его к матери. Бедный капитан был бы эвтому рад-радёшенек, ведь был бы? Господь с ним!

Высокий грубый извозчик сморщил свое суровое лицо и отвернулся, чтоб скрыть слезы. Я обернулась к мисс Дженкинс. Она казалась бледна, как будто готова упасть в обморок, и сделала мне знак открыть окно.

– Матильда, принеси мне шляпку. Я должна идти к этим девушкам. Да простит мне Господь, если я когда-нибудь говорила презрительно о капитане!

Мисс Дженкинс оделась, чтоб выйти, приказав мисс Матильде дать извозчику стакан вина. Пока её не было, мы с мисс Мэтти жались около камина, разговаривая тихим, пораженным испугом голосом, и плакали почти все время.

Мистер Дженкинс воротилась домой в молчаливом расположении и мы не смели делать ей много расспросов. Она рассказала нам, что мисс Джесси упала в обморок и они с мисс Поль с некоторым трудом привели ее в себя; но, опомнившись, она попросила, чтоб которая-нибудь из них пошла к её сестре.

– Мистер Гоггинс говорит, что она проживет недолго и от неё должно скрыть этот удар, сказала мисс Джесси, затрепетав от чувств, которым она не смела дать волю.

– Но как же вы сделаете, душенька? спросила мисс Дженкинс: – вы не будете в состоянии выдержать, она увидит ваши слезы.

– Бог мне поможет… я буду крепиться… она спала, когда мы получили известие; она верно спит и теперь. Она будет так несчастна не только потому, что батюшка умер, но при мысли, что будет со мною; она так добра ко мне.

Она смотрела пристально им в лицо своими нежными, правдивыми глазами и мисс Поль после сказала мисс Дженкинс, что она с трудом могла это вынести, зная, как мисс Броун обходилась с сестрой.

Однако все было исполнено согласно желанию мисс Джесси. Мисс Броун сказали, будто отца её послали на короткое время по делам железной дороги. Они как-то это устроили, мисс Дженкинс не могла именно сказать как. Мисс Поль осталась с мисс Джесси. Мистрисс Джемисон присылала осведомиться. Вот все, что услыхали мы в ту ночь, и печальна была эта ночь. На следующий день в городской газете было подробное описание рокового происшествия. Глаза мисс Дженкинс были очень слабы, как она говорила, и она просила меня прочитать. Когда я дошла до слов: «Достопочтенный джентльмен был глубоко погружен в чтение „Записок Пиквикского Клуба“, выпуска, только что им полученного», мисс Дженкинс продолжительно и торжественно покачала головой, а потом сказала со вздохом:

– Бедный, милый ослепленный человек!

Тело со станции железной дороги должны были отнести в приходскую церковь и похоронить там. Мисс Джесси непременно хотела проводить гробь до могилы; и никакие уговаривания не могли изменить её намерения[5]. Принуждение, которое она наложила на себя, сделало ее почти упрямой; она устояла против всех просьб мисс Поль, против всех советов мисс Дженкинс. Наконец мисс Дженкинс уступила; и после молчания, которое, как я опасалась, скрывало какое-нибудь глубокое неудовольствие против мисс Джесси, мисс Дженкинс сказала, что она проводит ее на похороны.

– Вам неприлично идти одной. Если я допущу, то это будет и против благопристойности и против человечества.

Мисс Джесси, казалось, не совсем понравилось это распоряжение; но её упорство, если только оно в ней было, истощилось в решимости отправиться на похороны. Она жаждала, бедняжка, поплакать одна на могиле дорогого отца, которому она заменяла все и во всем, жаждала дать себе волю, хоть на пол часика, непрерываемая сочувствием и ненаблюдаемая дружбой.

[5] В Англии женщины высшего класса никогда не бывают на похоронах. *Прим. пер.*

Но этому не суждено было случиться. В этот день мисс Дженкинс послала за аршином черного крепа и сама сшила себе черную шляпку. Окончив, она надела ее и смотрела на нас, ожидая одобрения… восторги она презирала. Я была исполнена горести, но, вследствие одной из тех причудливых мыслей, которые невольно приходят нам в голову, во время самой глубокой скорби, я, как только взглянула на шляпку, тотчас вспомнила о шлеме; и в этой-то пóмесной шляпке, полу-шлеме, полу-жокейской шапочке, присутствовала мисс Дженкинс на похоронах капитана Броуна, и я полагаю, поддерживала мисс Джесси с нежной снисходительной твердостью, истинно-неоцененной, позволив ей наплакаться досыта прежде, чем они расстались.

Мисс Поль, мисс Мэтти и я между тем ухаживали за мисс Броун, и тяжело нам показалось облегчать её сварливые и бесконечные жалобы. Но мы были так утомлены и унылы, думая, что там делается с мисс Джесси! Она воротилась почти спокойною, как будто бы приобрела новые силы, сняла свое траурное платье и вошла, бледная и кроткая, поблагодарив каждую из нас нежным, долгим пожатием руки. Она могла даже улыбнуться слабой, нежной, поблекшей улыбкой, как бы затем, чтоб уверить нас в своей твердости; но взгляд её заставил наши глаза вдруг наполниться слезами, более, нежели, если б она плакала навзрыд.

Было решено, что мисс Поль останется с нею на всю ночь, а мы, с мисс Мэтти, воротимся утром ее сменить, чтоб дать мисс Джесси возможность заснуть на несколько часов. Но когда наступило утро, мисс Дженкинс явилась за чаем, в своей шляпке-шлеме и приказала мисс Мэтти остаться дома, так как она намеревалась идти сама. Она очевидно находилась в состоянии высокого дружеского возбуждения, которое выказала, завтракая стоя и разбранив весь дом на чем свет стоит.

Никакое ухаживанье, никакая энергичная женщина с сильным характером не могли теперь помочь мисс Броун. В комнате её, когда мы вошли, было что-то могущественнее нас всех, заставившее нас задрожать от торжественной, исполненной ужаса сознательности в нашем бессилии. Мисс Броун умирала. Мы с трудом узнали её голос: он был так не похож на жалобный тон, который мы всегда с ним соединяли. Мисс Джесси говорила мне после, что и в лице её было именно то, что бывало прежде, когда смерть матери оставила ее юною, исполненною беспокойства, главою семьи, которую пережила только мисс Джесси.

Она сознавала присутствие сестры, но не наше, кажется. Мы стояли несколько позади занавеса: мисс Джесси на коленях, склонив лицо к сестре, чтоб уловить последний, тихий, страшный шепот.

– О, Джесси, Джесси! как я была себялюбива! Да простит мне Господь, что я позволяла тебе жертвовать собою для меня. Я так тебя любила… а теперь думала только о себе самой. Да простит меня Господь!

– Полно, моя дорогая, полно! сказала мисс Джесси, рыдая.

– Отец мой! мой дорогой, дорогой отец! Я не стану теперь жаловаться, если Господь даст мне силу быть терпеливой. Но, о Джесси! скажи моему отцу, как я желала и жаждала увидеть его при конце, чтоб выпросить его прощение. Он не может знать теперь, как я его любила… О! если б я могла сказать ему прежде, чем умру, как горька была его жизнь и как я сделала так мало, чтоб облегчить ее!

Лицо мисс Джесси просветлело.

– Успокоит ли тебя, моя дорогая, мысль, что он знает… успокоишься ли ты, моя милая, когда узнаешь, что его заботы, его горести…

Голос её задрожал, но она принудила себя сделаться спокойнее.

– Мэри! он прежде тебя отправился туда, где кончаются все горести. Он теперь знает, как ты его любила.

Странное, но не скорбное выражение мелькнуло на лице мисс Броун. Она не говорила несколько времени, но потом мы скорее увидели, что губы её произносят слова, нежели услыхали их звук:

– Батюшка, матушка, Гарри, Арни! Потом как будто новая мысль набросила тень на её помрачающийся рассудок и она прибавила: – но ты будешь одна, Джесси!

Мисс Джесси это чувствовала в продолжение безмолвия, я полагаю; потому что слезы лились дождем по щекам её при этих словах, и она сначала не могла отвечать. Потом она сложила руки, подняла их к небу и сказала, но не нам:

– Да будет воля Твоя!

Через несколько минут мисс Броун лежала безмолвно и спокойно; и скорбь и жалобы прекратились навсегда.

После этих вторых похорон, мисс Дженкинс настояла, чтоб мисс Джесси переехала к ней, а не возвращалась в этот печальный дом, который, как мы узнали от мисс Джесси, она должна была теперь оставить, потому что ей нечем было платить за наем. У ней было двадцать фунтов в год, кроме процентов с тех денег, которые она могла выручить за мебель; но она не могла этим жить, и мы начали рассуждать, какими способами могла бы она добывать деньги.

– Я могу чисто шить, сказала она: – и люблю ухаживать за больными. Думаю также, что могу хозяйничать, если кто-нибудь захочет попытаться взять меня в домоправительницы, или пойду в лавку, в прикащицы, если захотят сначала иметь со мной терпение.

Мисс Дженкинс объявила колким голосом, что она не сделала бы ничего подобного и бормотала про-себя: «как некоторые особы не имеют никакого понятия о своем звании капитанской дочери», а через час после того принесла мисс Джесси чашку с аррорутом и стояла над нею, как драгун, до тех пор, пока та не кончила последней ложки; потом она исчезла. Мисс Джесси начала рассказывать мне о планах, приходивших ей в голову, и нечувствительно перешла к разговору о днях протекших и прошедших, заинтересовав меня до того, что я не знала и не примечала, как проходило время. Мы обе испугались, когда мисс Дженкинс появилась снова и застала нас в слезах. Я боялась, что она рассердится, так как она часто говорила, что слезы вредят пищеварению, и я знала, что она желает видеть мисс Джесси, исполненною твердости; но вместо того, она казалась как-то странной, взволнованной и ходила около нас не говоря ни слова. Наконец заговорила:

– Я так испугалась… нет, я вовсе не испугалась… не обращайте на меня внимания, моя милая мисс Джесси… я очень удивилась… у меня гость, который знал вас прежде, моя милая мисс Джесси…

Мисс Джесси очень побледнела, потом ужасно покраснела и пристально взглянула на мисс Дженкинс.

– Один господин, душенька, который желает знать, угодно ли вам его видеть…

– Это?… это не… вырвалось только у мисс Джесси.

– Вот его карточка, сказала мисс Дженкинс, подавая ее мисс Джесси, и пока Джесси склонилась над ней головою, мисс Дженкинс делала мне странные знаки, мигала и шевелила губами какую-то длинную фразу, из которой я, конечно, не могла понять ни одного слова. – Может он прийти сюда? спросила наконец мисс Дженкинс.

– О, да, конечно! сказала мисс Джесси, как будто, хотела сказать: – вы здесь хозяйка и можете привести гостя, куда вам угодно.

Она взяла какое-то шитье мисс Мэтти и прилежно занялась им, но я могла видеть, как она дрожит.

Мисс Дженкинс позвонила и приказала вошедшей служанке просить сюда майора Гордона. Вошел высокий, красивый мужчина, с открытым лицом, лет пятидесяти или более. Он подал руку мисс Джесси, но не мог взглянуть ей в глаза: она так пристально смотрела в землю. Мисс Дженкинс спросила меня, не хочу ли я пойти помочь ей завязать банки с вареньем в кладовой; и хотя мисс Джесси дергала меня за платье и смотрела на меня умоляющими глазами, я не смела не пойти с мисс Дженкинс, куда она звала меня. Вместо того, чтоб завязывать банки в кладовой, мы пошли говорить в столовую и там мисс Дженкинс рассказала мне то,

что рассказал ей майор Гордон: как он служил в одном полку с капитаном Броуном и познакомился с мисс Джесси, в то время миленькой, цветущей, семнадцатилетней девушкой; как знакомство перешло в любовь, с его стороны, хотя прошло много лет прежде, чем он объяснился; как, получив во владение, по завещанию дяди, хорошее именье в Шотландии, он сделал предложение и получил отказ, хотя с таким волнением, с такой очевидной горестью, что не мог не увериться в её к нему неравнодушии; и как он узнал потом, препятствием была ужасная болезнь, уже тогда угрожавшая жизни её сестры. Она упомянула, что доктор предсказывал сильные страдания, а кроме её кто мог ухаживать за бедной Мэри, или ободрять и успокаивать отца во время его болезни. Они долго спорили и когда она отказала в обещании отдать ему руку тогда, как все кончится, он рассердился, решился на окончательный разрыв и уехал за границу, сочтя ее женщиной холодной, которую следует ему забыть. Он путешествовал по Востоку и на возвратном пути, в Риме, увидел в «Галиньяни»[6] известие о смерти капитана Броуна.

Именно в эту минуту мисс Мэтти, которой не было дома целое утро, вбежала с лицом, выражавшим ужас оскорбленного величия.

– О, Господи! сказала она – Дебора, в гостиной какой-то мужчина обнял рукою талию мисс Джесси!

Глаза мисс Мэтти расширились от ужаса. Мисс Дженкинс тотчас остановила ее словами:

– Это самое приличное место для руки этого господина. Ступай, Матильда, и не мешайся не в свои дела.

Слышать это от сестры, которая до сих пор была образцом женской скромности, было ударом для бедной мисс Мэтти, и с двойным оскорблением вышла она из комнаты.

В последний раз, когда я увидела бедную мисс Дженкинс, было уже много лет спустя. Мистрисс Гордон поддерживала самые дружеские сношения со всем Крэнфордом. Мисс Дженкинс, мисс Мэтти и мисс Поль, все ездили посещать ее и возвратились с удивительными рассказами о её доме, муже, нарядах, наружности; потому что с счастьем воротилось нечто из её ранней юности; она была моложе, нежели как мы предполагали. Глаза её были по-прежнему милы, а ямочки не казались неуместны на щеках мистрисс Гордон. В то время, о котором я говорю, когда я в последний раз видела мисс Дженкинс, она была уже стара и слаба и лишилась несколько своей твердости. Маленькая Флора Гордон гостила у мисс Дженкинс, и когда я вошла к ним, читала вслух для мисс Дженкинс, которая лежала на диване, слабая и изменившаяся. Флора отложила в сторону «Странника», когда я вошла.

– А! сказала мисс Дженкинс – вы найдете во мне перемену, душенька. Я не могу видеть, как прежде. Когда Флоры здесь нет, чтоб читать мне, я не знаю, как провести день. Читали вы когда-нибудь «Странника?» Это удивительная книга… удивительная! и самое поучительное чтение для Флоры… (в чем я совершенно согласилась бы, если б она могла читать хоть половину без складов и понимала бы хоть третью часть)… лучше чем та странная книга с диким названием, которая была причиной смерти бедного капитана Броуна, то сочинение Мистера Боца, знаете… Старого Поца. Когда я была молоденькой девушкой, я сыграла Лучию в старом Поце…[7] Она болтала так долго, что Флора имела время прочесть почти всю «Ночь пред Рождеством», которую мисс Мэтти оставила на столе.

---

[6] Английская газета, издаваемая в Париже. *Прим. перев.*

[7] Мисс Дженкинс смешивает *Боца* псевдоним Диккенса с «Старым Поцом», комедией мисс Эджеворт. *Прим. перев.*

III. Старинная любовь

Я думала, что, вероятно, мое сношение с Крэнкомом прекратится после смерти мисс Дженкинс, или по крайней мере ограничится перепиской, которая имеет такое же сходство с личными сношениями, как книги с сухими растениями («гербарий», кажется, их называют), с живыми и свежими цветами в долинах и на лужках. Я была приятно удивлена, однако, получив письмо от мисс Поль, у которой я всегда оставалась одну лишнюю неделю после ежегодного пребывания у мисс Дженкинс. Мисс Поль предлагала мне погостить у ней и потом, спустя дня два после моего согласия, я получила только от мисс Мэтти, в котором с некоторыми околичностями и очень смиренно она говорила мне, какое большое удовольствие я ей сделаю, если могу провести с ней недельку или две прежде или после того, как я буду у мисс Поль. Она говорила: «после смерти моей милой сестры, я очень хорошо знаю, что не могу предложить никакой привлекательности; я обязана обществом моих друзей только их доброте.»

Разумеется, я обещала приехать к милой мисс Мэтти, тотчас после окончания моего посещения к мисс Поль, и через день после моего приезда в Крэнфорд пошла с ней повидаться, сильно желая знать, каково у них в доме без мисс Дженкинс, и несколько опасаясь измененного положения вещей. Мисс Мэтти заплакала, увидев меня. Она очевидно находилась в сильном волнении, потому что предвидела мой визит. Я успокаивала ее сколько могла, и мне казалось, что самое лучшее утешение, которое я могу предложить ей, была чистосердечная похвала, вырвавшаяся из моего сердца, когда я говорила об умершей. Мисс Мэтти медленно качала головой при каждой добродетели, называемой и приписываемой её сестре; наконец, не могла удержать слез, которые долго лились безмолвно, закрыла лицо носовым платком и громко зарыдала.

– Милая мисс Мэтти! сказала я, взяв ее за руку: – я, право, не знала каким образом выразить ей, как мне прискорбно за нее, что она осталась на свете одна. Она спрятала носовой платок и сказала:

– Душенька, я бы лучше хотела, чтоб вы не называли меня Мэтти: она этого не любила; я боюсь, что я много делала того, чего она не любила… а теперь её уж нет! Пожалуйста, моя дорогая, называйте меня Матильдой!

Я обещала искренно и начала называть ее новым именем с мисс Поль в этот же самый день; мало-помалу чувства мисс Матильды об этом предмете сделались известны всему Крэнфорду и мы все пытались покинуть дружеское имя, но так неуспешно, что мало-помалу оставили покушение.

Посещение мое мисс Поль произошло очень спокойно. Мисс Дженкинс так долго предводительствовала в Крэнфорде, что теперь, когда её уж не было, никто не знал, как дать вечер. Её сиятельство, мистрисс Джемисон, которой сама мисс Дженкинс всегда уступала почетное место, была тупоумна, вяла и совершенно во власти своих старых слуг. Если им заблагорассудится, чтоб она дала вечер, они напоминали ей; если нет, она его не давала. Мы проводили время – я, слушая стародавние истории мисс Поль и работая над манишками для отца моего, а она за вязаньем. Я всегда брала с собою множество домашнего шитья в Крэнфорд; так как мы немного читали, мало прогуливались, я находила это удобным временем оканчивать мои работы. Одна из историй мисс Поль относилась к любовным обстоятельствам, смутно-примеченным или, заподозренным много лет назад.

Наконец наступило время, когда я должна была переселиться в дом мисс Матильды. Я нашла ее в робости и беспокойстве насчет распоряжений для моего удобства. Сколько раз, пока я развязывала свои вещи, ходила она взад и вперед поправлять огонь, который горел тем хуже, что его мешали беспрестанно.

– Довольно ли вам шкапов, душенька? спросила она. – Я не знаю хорошенько, как сестрица умела все это укладывать. У ней была удивительная метода. Я уверена, что она приучила бы служанку в одну неделю разводить огонь, а Фанни у меня уже четыре месяца.

Служанки были постоянным предметом её горестей; и я этому не удивлялась, если мужчины показывались редко, если о них почти не было слыхать в «высшем обществе» Крэнфорда, то дубликатов их красивых молодых людей было множество в низших классах. Хорошеньким служанкам было из чего выбирать поклонников, а госпожам их, хоть бы они и не чувствовали такой таинственной боязни к мужчинам и супружеству, как мисс Матильда, было отчего несколько бояться: головы пригожих служанок легко могли быть вскружены каким-нибудь столяром или мясником, или садовником, которые были принуждены, по своему ремеслу, приходить в дом и которые, по несчастью, были вообще красивы и неженаты. Поклонники Фанни (если только они у неё были, а мисс Матильда подозревала ее в таком многочисленном кокетстве, что не будь она очень хорошенькой, я сомневалась бы, есть ли у ней хоть один) были постоянным предметом беспокойства для госпожи. Служанке запрещалось, одною из статей контракта, иметь «поклонников»; и хотя она отвечала довольно невинно, переминая в руках кончик передника: «У меня, сударыня, никогда не было больше одного в одно время», мисс Мэтти запретила даже и этого одного. Но какая-то мужская тень, казалось, посещала кухню. Фанни уверяла меня, что все это только воображение, а то я и сама сказала бы, будто видела фалды мужского сюртука, мелькнувшие в чулан, однажды, когда меня послали вечером в кладовую. В другой раз, когда остановились наши карманные часы и я пошла посмотреть на стенные, мне мелькнуло странное явление, чрезвычайно похожее на молодого человека, прижавшегося между часами и половинкой открытой кухонной двери; мне показалось, что Фанни схватила свечу очень поспешно, так, чтоб бросить тень на часы, и положительно сказала мне время получасом раньше, как мы после узнали по церковным часам. Но я не хотела увеличивать беспокойства мисс Мэтти, рассказами о моих подозрениях, особенно, когда Фанни сказала мне на следующий день, что в этой странной кухне являются какие-то странные тени и ей почти страшно оставаться одной.

– Ведь вы знаете, мисс, прибавила она: – я не вижу ни души с шести часов после чаю, до тех пор, пока барышня не зазвонит к молитве в десять. Однако случилось, что Фанни отошла и мисс Матильда просила меня остаться и «устроить ее» с новой служанкой, на что я согласилась, осведомившись прежде у батюшки, что дома я ему не нужна. Новая служанка была суровая, честная с виду деревенская девушка, которая жила прежде только на мызе; но мне понравилась её наружность, когда она пришла наниматься и я обещалась мисс Матильде приучить ее к домашним обычаям. Эти обычаи исполнялись благоговейно, именно так, как мисс Матильда думала, что одобрит сестра. Множество домашних правил и постановлений были предметом к тихим жалобам, сказанных мне шепотом во время жизни мисс Дженкинс; но теперь, когда она умерла, я не думаю, чтоб даже я, любимица, осмелилась посоветовать какое-нибудь изменение. Например, мы постоянно соображались с формами, соблюдаемыми во время обеда и ужина в «доме моего отца-пастора». У нас всегда было вино и десерт; но графины наполнялись только, когда были званые гости; а до того, что оставалось, дотрагивались редко, хотя у нас было по две рюмки на каждого всякий день за обедом до тех пор, пока наступал званый вечер и состояние оставшегося вина обсуживалось в семейном совете. Подонки часто отдавались бедным; но когда остатков было много от последнего вечера (хоть бы это случалось месяцев за пять), они прибавлялись к свежей бутылке, приносимой из погреба. Мне кажется, что бедный капитан Броун не очень любил вино; я примечала, что он никогда не кончал первого стакана, а многие военные пьют по нескольку. Также, за нашим десертом мисс Дженкинс обыкновенно собирала смородину и крыжовник сама, а мне иногда казалось, что они были бы вкуснее, если б гости срывали их сами прямо с дерев; но тогда, как замечала мисс Дженкинс, ничего бы не осталось для десерта. Как бы то ни было, нам было хорошо с нашими двумя ста-

канами вина, с блюдом крыжовника спереди, с смородиной и бисквитами по бокам и с двумя графинами сзади. Когда появлялись апельсины, с ними обращались прелюбопытным образом. Мисс Дженкинс не любила их резать, потому что, замечала она, сок брызнет неизвестно куда; единственный способ наслаждаться апельсинами – сосать их (только мне кажется она употребляла несколько более отвлеченное слово); но тут было неприятное воспоминание о церемонии, повторяемой грудными малютками, потому, после десерта, в то время, как начинались апельсины, мисс Дженкинс и мисс Мэтти вставали, безмолвно брали каждая по апельсину и удалялись в уединение своих спален наслаждаться сосаньем апельсинов.

Я пробовала несколько раз уговорить мисс Мэтти остаться, и успевала при жизни сестры. Я удерживала улыбку и не смотрела, а она старалась не делать слишком неприличного шуму; но теперь, оставшись одна, она почти пришла в ужас, когда я просила ее остаться со мною в темной столовой и насладиться своим апельсином, как только ей хотелось. Точно так было во всем. Порядок, заведенный мисс Дженкинс, сделался строже, чем прежде, потому что учредительница отправилась туда, где не могло быть никакой апелляции. Во всем другом мисс Матильда была слаба и нерешительна до чрезмерности. Я слышала, как Фанни, раз двадцать в утро заставляла ее переменять распоряжение об обеде: этого хотелось плутовке и мне иногда казалось, что она пользовалась слабостью мисс Матильды, чтоб запутать ее и заставить почувствовать себя более во власти своей хитрой служанки. Я решилась не оставлять её до тех пор, покуда не увижу какого рода женщина Марта; и если б я нашла, что можно на нее положиться, я хотела сказать ей, чтоб она не беспокоила госпожи своей, а сама решала все.

Марта была груба и резка на словах до чрезмерности; во всем другом она была проворная, благонамеренная, но очень несведущая девушка. Она не была с нами и недели, как мы были изумлены получением письма от кузена мисс Матильды, который был двадцать, или тридцать лет в Индии и недавно, как мы видели из военного списка, воротился в Англию, привезя с собою больную жену незнакомую её английской родне. Майор Дженкинс писал, что он с женою проведет ночь в Крэнфорде по дороге в Шотландию, в гостинице, если мисс Матильде нельзя принять их в своем доме; в последнем случае они надеются пробыть с ней как можно долее днем. Разумеется, ей *должно* принять их, как она говорила, потому что всему Крэнфорду известно, что у ней свободна спальня сестры; но я уверена, что ей хотелось бы, чтоб майор оставался в Индии и забыл вовсе своих кузенов и кузин.

– Что я теперь буду делать? спросила она в отчаянии. – Будь жива Дебора, она знала бы, как принять гостя джентльмена. Надо ли мне положить ему бритвы в уборную? Ах, Господи! у меня нет ни одной. У Деборы были бы. А туфли, а щетки чистить платье?

Я сказала, что, вероятно, он привезет все эти вещи с собой.

– А после обеда, как мне знать, когда встать и оставить его пить вино? Дебора сделала бы это так хорошо; она была бы совершенно в своей стихии. Надо ли ему подавать кофе, как вы думаете?

Я приняла на себя сладить с кофе и сказала, что научу Марту, как служить, в чем, надо признаться, она была ужасно неискусна, и прибавила, что, я не сомневаюсь, наверно майор и мистрисс Дженкинс поймут тихий образ жизни, который дама, живущая одна, ведет в провинциальном городке. Но мисс Мэтти была сильно встревожена. Я уговорила ее опорожнить графины и принести две свежие бутылки вина. Мне хотелось бы, чтоб она не присутствовала при моих наставлениях Марте, потому что Мэтти беспрестанно прерывала их каким-нибудь новым приказанием, сбивая с толку бедную девушку, которая стояла разинув рот и не знала, кого из нас слушать.

– Обноси овощи кругом, сказала я (глупо, как я теперь вижу, потому что это только доказало притязание на то, что без этого мы могли бы сделать спокойно и просто) и увидев, как она изумилась, я прибавила: – подавай овощи кругом стола и пусть каждый сам берет их.

– И прежде начинай с дам, вмешалась мисс Матильда. – Всегда, когда подаешь что-нибудь, подходи прежде к дамам, а не к мужчинам.

– Я исполню, как вы приказываете, сказала Марта: – только я парней люблю лучше.

Нам сделалось очень неловко и оскорбительно от этих слов Марты; однако я не думаю, чтоб она считала их неприличными. Вообще она очень хорошо исполнила наши наставления, кроме того, что толкнула майора, когда он не так скоро, как ей хотелось, взял с блюда картофель, который она обносила кругом.

Майор с женою были люди тихие, без претензий, томные, как все восточные индийцы, я полагаю. Нас несколько смутило, что они привезли с собою двух слуг, индийца камердинера для майора и степенную пожилую девушку для его жены; но они ночевали в гостинице и сняли с нас большую часть ответственности, заботясь об удобствах господина и госпожи. Удивлению Марты белому тюрбану восточного индийца и его смуглой коже не было конца, и я видела, что мисс Матильда попятилась, когда он подал ей что-то за столом; а когда они уехали, она спросила меня: не напоминает ли он мне Синюю Бороду? Впрочем, посещение окончилось очень удовлетворительно и даже теперь служит предметом к разговору с мисс Матильдой; в то время оно очень взволновало Крэнфорд и даже возбудило её сиятельство, апатическую мистрисс Джемисон, к некоторому выражению участия, когда я пошла поблагодарить ее за ласковые ответы, которые она соблаговолила сделать на расспросы мисс Матильды об устройстве мужской уборной, ответы, которые, я должна признаться, она дала с утомленным видом скандинавской жрицы:

Leave me, leave me to repose.

Оставьте меня в покое.

А *теперь* я перехожу к любовной истории.

Кажется, что у мисс Поль есть кузен, во втором или третьем колене, который предлагал руку мисс Мэтти очень, очень давно.

Теперь этот кузен жил за четыре, или пять миль от Крэнфорда, в своем собственном имении; но его состояние было недовольно велико, чтоб доставить ему звание выше однодворца, или, скорее, от гордости, подражающей смирению, он отказался, как многие из его класса сделали это, стать в ряды сквайров (помещиков). Он не позволял себе называться Томасом Голбруком эсквайром; даже отсылал назад письма с этим адресом, говоря крэнфордской почтмейстерше, что его зовут мистер Томас Голбрук, однодворец. Он отвергал всякие домашние нововведения; хотел, чтоб дверь его дома была открыта летом и заперта зимой, без молотка и колокольчика, чтоб позвать слугу. Кулак или набалдашник трости служил ему вместо молотка и колокольчика, когда он находил дверь запертой. Он презирал всякую утонченность, которая не почерпала свои корни в человеколюбии. Если люди не были больны, он не видел необходимости смягчать свой голос, говорил местным наречием в совершенстве и постоянно употреблял его в разговоре; хотя мисс Поль, которая рассказала мне эти подробности, прибавила, что он читал вслух лучше и с большим чувством, нежели все те, кого она слышала, исключая покойного пастора.

– Как же это мисс Матильда не вышла за него? спросила я.

– Не знаю, кажется, ей порядочно хотелось; но, знаете, кузен Томас был недовольно порядочным джентльменом для пастора и мисс Дженкинс.

– Да ведь не им же надо было выходить за него, сказала я нетерпеливо.

– Нет; но они не хотели, чтоб мисс Мэтти вышла ниже своего звания. Вы знаете, она дочь пастора и как-то сродни сэру Петеру Арлею: мисс Дженкинс очень этим чванилась.

– Бедная мисс Мэтти! сказала я.

– Я не знаю ничего больше, кроме того, что он сделал предложение и ему отказали. Мисс Мэтти мог он не нравиться, а мисс Дженкинс, может быть, не сказала ни слова, это так только мое предположение.

– А с-тех-пор она его не видала никогда? спросила я.

– Нет не думаю. Видите, Уддлей, имение кузена Томаса, лежит на половине дороги между Крэнфордом и Миссельтоном; я знаю, что он производил распродажу в Миссельтоне вскоре после того, как сделал предложение мисс Мэтти, и не думаю, чтоб он был в Крэнфорде с-тех-пор больше двух раз. Однажды, когда я прогуливалась с мисс Мэтти по Большой Улице, она вдруг от меня отскочила и пошла по Графскому Переулку. Через несколько минут я встретила кузена Томаса.

– Каких он лет? спросила я после нескольких минут тайных соображений.

– Должен быть около семидесяти, как мне кажется, душенька, сказала мисс Поль, разрушив в прах мой воздушный замок.

Вскоре после того, во время моего продолжительного визига к мисс Матильде, мне случилось увидеть мистера Голбрука, увидеть тоже первую его встречу с предметом первой любви после тридцати или сорока лет разлуки. Я помогала решить, который из новых только что полученных мотков известного шелку будет лучше идти к платью муслин-де-лен, к которому нужно было сделать новое полотнище; когда высокий, худощавый, похожий на Дон-Кихота старик вошел в лавку и спросил шерстяные перчатки. Я никогда не видела прежде этого человека, которого наружность была довольно поразительна, и рассматривала его несколько внимательно между тем, как мисс Мэтги разговаривала с лавочником. На незнакомце был синий сюртук с медными пуговицами, серые панталоны и штиблеты; он барабанил пальцами по прилавку, ожидая своей очереди, и когда наконец произнес что-то на вопрос приказчика: «что прикажете подать вам, сэр?» я видела, как мисс Матильда вздрогнула и вдруг опустилась на стул; я тотчас угадала кто это. Она спросила что-то, что надо было принести из другой лавки.

– Мисс Дженкинс спрашивает черную тафту по два шиллинга и два пенса ярд…

Мистер Голбрук услыхал имя и в два шага перешел через всю лавку.

– Мэтти… мисс Матильда… мисс Дженкинс. Господи помилуй! Я вас не узнал бы. Как ваше здоровье? как ваше здоровье?

Он пожимал её руку с жаром, и доказывавшим его дружбу, повторял так часто как бы говоря сам с собою: «я бы вас не узнал!» что всякий сантиментальный роман, который мне вздумалось бы сочинить, совершенно опровергался этим обращением.

Однако он разговаривал с нами все время, пока мы были в лавке, и потом, отодвинув лавочнику купленные перчатки с словами: «в другой раз, сэр! в другой раз!» отправился с нами домой. Мне приятно сказать, что мисс Матильда также вышла из лавки в равномерно-изумленном состоянии, не купив ни зеленого, ни красного шелку. Мистер Голбрук очевидно был полон благородной, шумной радости, встретив предмет своей старинной любви; он коснулся происшедших перемен, даже называл мисс Дженкинс: «ваша бедная сестра!» прибавив: «ну что ж делать! у всякого из нас свои недостатки». Он простился с нами, выразив надежду вскоре опять увидеться с мисс Мэтти. Она прямо пошла в свою комнату и не выходила до чаю; мне показалось будто она плакала.

IV. Визит старому холостяку

Через несколько дней явилось послание от мистера Голбрука, просившего нас, беспристрастно просившего нас обеих церемонным, старинным слогом, провести день в его доме, длинный июньский день; тогда был июнь. Он упоминал, что пригласил также свою кузину мисс Поль, так что мы могли приехать все вместе в наемной карете, которая могла оставаться в его доме.

Я надеялась, что мисс Мэтти обрадуется этому приглашению – не тут-то было! Какого труда стоило нам с мисс Поль уговорить ее ехать. Она считала это неприличным и даже выразила некоторую досаду, что мы совершенно не понимали, как неприлично ей ехать с двумя другими дамами к её бывшему жениху. Явилось еще более серьёзное затруднение. Ей пришло в голову, что Деборе это не понравилось бы. Это отняло у нас целые полдня на уговаривание; но, воспользовавшись первой уступчивой фразой, я написала и отправила согласие от её имени, назначив день и час, чтоб все было решено и с рук долой.

На следующее утро она просила меня пойти с ней в лавку, и там, после многих колебаний, мы выбрали три чепчика, которые велено было отнести к нам домой, чтоб примерить и выбрать один для четверка.

Она находилась в состоянии безмолвного волнения во всю дорогу до Уддлея. Она никогда там не бывала, и хотя вовсе не воображала, чтоб мне могло быть известно что-нибудь об истории её ранней юности, я могла приметить, что она страшилась мысли увидеть место, которое могло быть её домом и около которого, вероятно, носились её невинные девические мечты. Дорога туда вела через длинную тряскую мостовую. Мисс Матильда сидела прямо, пристально смотрела из окон, когда мы приблизились к концу нашего путешествия. Вид местоположения был спокоен и живописен. Уддлей стоял посреди поля, окруженный старомодным садом, где розовые и смородинные кусты переплетались друг с другом и мохнатая спаржа образовывала хорошенький грунт для гвоздик и фиалок. К дверям нельзя было подъехать в экипаже: мы вышли у маленькой калитки и пошли пешком по прямой дорожке, обсаженной зеленью.

– Кузен мог бы, кажется, проложить экипажную дорогу, сказала мисс Поль, которая боялась стрельбы в ушах и у которой ничего не было на голове кроме чепчика.

– Как это красиво! сказала мисс Мэтти несколько жалобным голосом и почти шепотом, потому что именно тогда мистер Гольбрук явился у двери, потирая руки в избытке довольства. Он более чем когда-нибудь подходил к понятию, составленному мною о Дон-Кихоте, и, однако, сходство было только наружное. Почтенная домоправительница его скромно встретила нас у двери, и между тем, как она повела старых дам в спальню, я попросила позволения погулять в саду. Просьба моя очевидно понравилась старому джентльмену, который обвел меня везде и показал мне свои двадцать шесть коров, названных различными буквами азбуки. Дорогой он удивил меня прекрасными изречениями из поэтов, легко перебегая от Шекспира и Джорджа Герберта до новейших. Он делал это так естественно, как будто думал вслух, что их истинные и прекрасные слова были лучшими выражениями, какие только он мог найти для своих мыслей и чувств. Конечно, он называл Байрона «милордом Бироном» и произносил имя Гёте согласно произношению английского звука букв; но я никогда не встречала человека ни прежде ни после, который проводил бы такую продолжительную жизнь в уединенной и невпечатлительной стране с вечно увеличивающимся наслаждением от ежедневных и годовых перемен во временах года и красот природы.

Воротясь, мы нашли, что обед был почти готов в кухне – так я полагаю должно бы назвать эту комнату, потому что в ней были дубовые лавки и шкапы кругом камина, и только небольшой турецкий ковер посреди каменного поля изменял обстановке. Комнату эту легко можно было превратить в прекрасную темно-дубовую столовую, перенеся печку и другие кухонные

принадлежности, которые очевидно никогда не употреблялись, потому что стряпанье происходило в другом месте. Комната, которая назначена была хозяином для гостиной, была некрасиво и чопорно меблирована; но та в которой мы сидели, называлась мистером Голбруком конторой, с большим бюро возле двери; тут он платил работникам их недельное жалованье. Остальная часть хорошенькой комнаты, выдававшаяся в фруктовый сад и вся покрытая дрожащими тенями дерев, была наполнена книгами; они лежали на полу, покрывали стены, были разбросаны на столе. Он очевидно и стыдился и тщеславился своей расточительностью в этом отношении. Тут были книги всех возможных родов, но более всего сочинения поэтические и дикие волшебные сказки. Он очевидно выбирал себе книги сообразно с своим вкусом, а не потому, что такая-то и такая считались классическими и имели успех.

– Ах! сказал он: – нам, фермерам, не надо бы терять много времени на чтение, но иногда нельзя удержаться.

– Какая хорошенькая комната! сказала мисс Мэтти sotto voce.

– Какое приятное место! сказала я громко, почти вместе с нею.

– Нет… если она вам нравится, возразил он – но можете ли вы сидеть на этих больших черных кожаных стульях? Мне эта комната нравится больше гостиной; но я думал, что дамам та покажется более нарядной.

Это точно было нарядное место, но, как многие нарядные вещи, совсем некрасиво, не весело, не уютно, и потому, пока мы были за столом, служанка стерла пыль и обмела стулья в конторе, и мы сидели тут во все остальное время.

Нам подали пудинг прежде мяса, и я думала, что мистер Голбрук станет извиняться в своих стародавних обычаях, потому что он начал:

– Не знаю, любите ли вы вновь выдуманные обычаи…

– О, совсем нет! сказала мисс Мэтти.

– И я также, сказал он. – Домоправительница непременно хочет делать по-своему; но я говорю ей, что когда я был молодым человеком, мы привыкли держаться строго правил моего отца: «нет бульона – нет пудинга; нет пудинга – нет и мяса», и всегда начинали обед бульоном, потом нам подавали жирные пудинги, сваренные в бульоне с говядиной, а потом мясо. Если мы не съедали бульона, то нам не давали пудинга, что мы любили гораздо больше; говядина давалась после всего и только тем, которые съедали бульон и пудинг. Теперь начинают сладкими вещами и перевертывают обед вверх дном.

Когда явились утка и зеленый горошек, мы с смущением посмотрели друг на друга; у нас были только одни вилки; правда, сталь сияла, как серебро, но что нам было делать? Мисс Мэтти подбирала горошинки одну по одной, зубцами своей вилки, точно так, как Амине ела зернышки риса после своего предварительного пира с Гулем. (Намек на Тысячу и Одну Ночь.) Мисс Поль вздохнула над нежными горошинками, оставляя их нетронутыми на одной стороне своего блюда, потому что они выскользнули бы между зубцов вилки. Я взглянула на хозяина: горох летел целиком в его огромный рот, пихаемый широким круглым ножичком. Я увидела, подражала, пережила! Друзья мои, несмотря на мой пример, не могли собраться с достаточным мужеством, чтоб сделать не совсем приличное дело; и если б мистер Голбрук не был так сильно голоден, он, вероятно, увидел бы, что его славный горошек был унесен нетронутым.

После обеда принесли глиняную трубку и плевальницу; попросив нас удалиться в другую комнату, куда скоро обещал прийти к нам, если нам не нравится табачный дым, он подал трубку мисс Мэтти, прося набить ее табаком. Это считалось комплиментом даме в его молодости, но казалось не совсем приличной честью для мисс Мэтти, которую сестра приучила смотреть с страшным отвращением на всякий род курения. Но если это и было оскорблением для её утонченного вкуса, то было также лестно для её чувства; и потому она томно набила крепким табаком трубку, а потом мы удалились.

– Какой это приятный обед у холостяка! сказала тихо мисс Мэтти, когда мы уселись в конторе. Надеюсь только, что это не неприлично, как столько других приятных вещей.

– Какое множество у него книг! сказала мисс Поль, осматриваясь кругом: – и в какой они пыли!

– Мне кажется, это должно быть похоже на одну из комнат великого доктора Джонсона, сказала мисс Мэтти. – Какой должен быть ученый человек ваш кузен!

– Да! сказала мисс Поль – он много читает; но я боюсь, что он принял весьма грубые привычки, живя один.

– О! грубые – слишком жесткое слово. Я назвала бы его эксцентрическим; все умные люди таковы! отвечала мисс Мэтти.

Когда мистер Голбрук вернулся, он предложил прогуляться по полям; но две старшие дамы боялись сырости и грязи; притом у них только были не весьма красивые капоры, чтоб накинуть на чепчики: поэтому они отказались; я опять была спутницей мистера Голбрука в прогулке, которую, как он говорил, был принужден сделать, чтоб присмотреть за работниками. Он шагал прямо, или совершенно забыв о моем присутствии, или принужденный молчать, потому что курил трубку; однако, это было не совершенное молчание. Он шел передо мною несколько согнувшись, заложив руки за спину; и когда какое-нибудь дерево или облако или проблеск дальнего надгорного пастбища поражали его, он говорил вслух стихи громким, звучным голосом, именно с тем самым выражением, которое придает истинное чувство и уменье ценить. Мы подошли к старому кедру, который стоял на другом конце дома:

The cedar spreads his dark-greem layers of shade.

(Кедр расстилает свои темно-зеленые слои тени).

– Удивительное выражение – слои!.. Удивительный человек!

Я не знала со мной ли говорил он, или нет, но я согласилась, что «удивительно», хотя ничего не поняла. Мне, наконец, наскучило, что обо мне забыли, и вследствие этого я принуждена молчать.

Он вдруг обернулся.

– Да! вы можете говорить «удивительно». Когда я увидал обзор его поэм в «Blakewood», я отправился сейчас и прошел пешком семь миль до Миссельтона, потому что лошади не были готовы и выписал эти поэмы. А какого цвета почки ясеневого дерева в марте?

«Что он, сошел с ума? подумала я. Он очень похож на Дон-Кихота».

– Я спрашиваю, какого они цвета? повторил он с пылкостью.

– Право я не знаю, сэр, сказала я с кротостью неведения.

– Я знал, что вы не знаете. И я также не знал, старый дурак! до тех пор, пока этот молодой поэт не явился и не сказал мне: «черны, как ясеневые почки в марте». А я жил целую жизнь в деревне и тем для меня стыднее не знать. Черны, они черны, как гагат, сударыня.

И он опять пошел дальше, качаясь под музыку каких-то стихов, которые пришли ему на память. Когда мы воротились назад, он захотел непременно прочесть нам поэмы, о которых говорил и мисс Поль ободрила его в этом предположении, мне показалось затем, чтоб заставить меня послушать его прекрасное чтение, которое она так хвалила; но она сказала, будто потому, что дошла до трудного узора в тамбурном вязанье и хотела счесть петли, не будучи принуждена говорить. Что бы он ни предложил, все было приятно для мисс Мэтти, хотя она заснула через пять минут после того, как он начал длинную поэму, называющуюся «Locksley Hall», и преспокойно проспала-себе, пока он не кончил так, что этого никто не заметил; когда внезапное его молчание вдруг ее пробудило и она сказала:

– Какая хорошенькая книга!

– Хорошенькая! чудесная, сударыня! Хорошенькая, как бы не так!

– О, да! я хотела сказать: чудесная, прибавила она, встревоженная его неодобрением. – Это так похоже на чудесную поэму доктора Джонсона, которую часто читала моя сестра… я забыла как она называется… что это было, душенька? сказала она, обернувшись ко мне.

– О чем вы говорите, мисс Матильда? Что это такое?

– Не помню, право, содержания и совсем забыла как называется, но написана она доктором Джонсоном и такая прекрасная, очень похожа на то, что сейчас читал мистер Голбрук.

– Не помню; сказал он, размышляя: – но я не хорошо знаю поэмы доктора Джонсона. Надо их прочесть.

Когда мы садились на возвратном пути в коляску, я услышала, что мистер Голбрук обещал скоро известить дам, чтоб узнать, как они доехали; это, очевидно, и понравилось и испугало мисс Мэтти в то время, как он это сказал; но после того, когда мы уже потеряли из виду старый дом между деревьями, чувства её постепенно переходили в тревожное желание узнать, не нарушила ли Марта слово и не воспользовалась ли отсутствием своей госпожи, чтоб взять «поклонника». Марта степенно и спокойно помогла нам выйти из коляски; она всегда заботилась о мисс Мэтти, но сегодня сказала эти несчастные слова:

– Ах, сударыня, как подумаешь, что вы выехали вечером в такой тонкой шали! Ведь это ничем не лучше кисеи. В ваши лета вы должны быть осторожны.

– В мои лета! сказала мисс Мэгги, почти сердито, тогда-как обыкновенно говорила она очень кротко: – в мои лета! Ну почему ты знаешь сколько мне лет?

– Я дала бы вам около шестидесяти; конечно, многие часто кажутся старше на вид, я ведь не хотела вас обидеть.

– Марта, мне еще нет и пятидесяти-двух, сказала мисс Мэтти с чрезвычайной выразительностью. Вероятно, воспоминание о юности живо предстало перед нею в этот день, и ей было досадно, что это золотое время так давно уже прошло.

Но она никогда не говорила о прошлом и более коротком знакомстве с мистером Голбруком. Она, вероятно, встретила так мало симпатии в своей юной любви, что скрыла ее глубоко в сердце; и только вследствие наблюдения, которого я не могла избегнуть после откровенности мисс Поль, могла я приметить, как верно было её бедное сердце в своей печали и в своем безмолвии.

Она сослалась на какие-то убедительные причины, зачем стала надевать каждый день самый лучший свой чепчик и сидеть у окна, несмотря на ревматизм, чтоб видеть, не будучи видимой, все, что делалось на улице.

Он приехал, уткнул руки в колени, склонил голову и засвистел после того, как мы ответили на его вопросы о нашем благополучном возвращении. Вдруг он вскочил.

– Ну, сударыня! нет ли у вас поручений в Париж? Я еду туда недели через две.

– В Париж! вскричали мы обе.

– Да-с! Я никогда там не был, всегда желал побывать и думаю, что если не поеду скоро, то могу не поехать вовсе, поэтому, как только кончатся сенокосы, я еду, чтоб успеть воротиться до жатвы.

Мы так были удивлены, что не придумали поручений.

Выходя из комнаты, он вдруг обернулся с своим любимым восклицанием:

– Господь да помилует мою душу! Я чуть было не забыл, что привез для вас поэму, которою вы так восхищались у меня.

Он вынул пакет из своего кармана.

– Прощайте, мисс, сказал он: – прощайте, Мэтти! поберегите себя.

И он ушел. Но он дал ей книгу, назвал Мэтти точь-в-точь, как делал тридцать лет назад.

– Я желала бы, чтоб он не ездил в Париж, сказала мисс Матильда с беспокойством. – Я не думаю, чтоб ему было здорово есть лягушек; он привык быть очень осторожным в еде, что было престранно в таком здоровом с виду молодом человеке.

Вскоре после того я уехала, дав множество наставлений Марте, как присматривать за госпожой, и дать мне знать, если ей покажется, что мисс Мэтти не совсем здорова; в таковом случае я приеду известить своего старого друга, не сказав ей об уведомлении Марты.

Вследствие этого я получала несколько строчек от Марты время от времени; а около ноября явилось известие, что госпожа её «очень опустилась и не хочет корму». Это известие так меня обеспокоило, что хотя Марта и не звала меня непременно, я собралась и поехала.

Меня приняли с горячим дружелюбием, несмотря на небольшую тревогу, произведенную моим неожиданным визитом, потому что я могла дать уведомление только накануне. Мисс Матильда показалась мне весьма болезненной и я приготовилась успокаивать и приголубливать ее.

Я пошла вниз поговорить тихонько с Мартой.

– С которых пор барыня твоя так плоха? спросила я, стоя в кухне у огня.

– Ей вот теперь лучше недельки с две; да, я знаю, что лучше; она вдруг стала корчиться в четверг после того, как мисс Поль побывала. Я подумала: верно она устала, пройдет, когда уснет хорошенько; а нет. С-тех-пор все хуже да хуже; дай-ка я, мол, напишу к вам, сударыня.

– Ты поступила прекрасно, Марта. Приятно думать, что при ней такая верная служанка, и я надеюсь, что и ты довольна своим местом.

– Конечно, сударыня, барыня очень добрая, еды и питья вдоволь и дела не слишком много, только…

– Только что, Марта?

– Зачем барыня не позволяет мне водить компанию с парнями?.. У нас, в городе, их такая куча, и сколько рады бы радёхоньки навестить меня и, может быть, мне никогда не придется иметь место такое способное для этого, и оно кажись мне, как бы пропускать случай. Многие девушки, мои знакомые, сделали бы так, что барыня и не узнала; а я, видите, дала слово и сдержу, хоть дом наш такой, что лучше нельзя желать для этого, и такая способная кухня, с такими славными уголками; я поручилась бы, что могу утаить что угодно. Прошедшее воскресенье, не отопрусь, я плакала, что должна была захлопнуть дверь под нос Джиму Гэрну, а он такой степенный парень, годный для какой угодно девушки. Только я обещалась барышне…

Марта чуть не плакала; мне нечем было ее успокоить. Я знала из прежней опытности, с каким ужасом обе мисс Дженкинс глядели на «поклонников», а в настоящем нервном состоянии мисс Мэтти нельзя было и думать уменьшить этот страх.

Я пошла повидаться с мисс Поль на следующий день, что было для неё совершенным сюрпризом, потому что она не видалась с мисс Матильдой уже два дня.

– А теперь я должна идти с вами, душенька, я обещала дать ей знать каково Томасу Голбруку, и мне ужасно жаль сказать ей… что его домоправительница прислала мне известие, что ему не долго осталось жить. Бедный Томас! Этого путешествия в Париж он не мог выдержать. Домоправительница говорит, что с-тех-пор он почти совсем не обходил полей, а сидел все уткнув руки в колени в конторе, ничего не читал, а только все твердил: «какой удивительный город Париж!» Большую ответственность возьмет на себя Париж, если будет причиной смерти кузена Томаса, потому что лучшего человека не было на свете.

– А мисс Матильда знает о его болезни? спросила я – новый свет промелькнул у меня насчет причины её нездоровья.

– Разумеется, душенька! Разве она вам не сказала? Я уведомила ее, недели две назад или больше, когда в первый раз об этом услыхала. Как странно, что она вам не сказала!

«Вовсе нет», подумала я; но не сказала ничего. Я почти чувствовала себя виноватой, заглядывая слишком любопытно в это нежное сердце, и зачем мне было говорить о её тайнах,

скрытых, как мисс Мэтти полагала, от целого света. Я провела мисс Поль в маленькую гостиную мисс Матильды, и потом оставила их одних; но я нисколько не удивилась, когда Марта пришла ко мне в спальню сказать, чтоб я шла обедать одна, потому что у барыни сильно разболелась голова. Мисс Мэтти пришла в гостиную к чаю, но это, очевидно, было для неё усилием. Как бы желая загладить некоторое чувство упрека, которое питала к своей покойной сестре, которое волновало ее целый день и в котором она теперь раскаивалась, она стала мне рассказывать, как добра и умна была в юности Дебора; как она умела решать, какие платья надо было надевать на все вечера (слабая, призрачная идея о веселых вечерах так давно прошедших, когда мисс Мэтти и мисс Поль были молоды) и как Дебора с их матерью завели благотворительное общество для бедных и учили девушек стряпать и шить; как Дебора однажды танцевала с лордом, и как она ездила к сэру Питеру Арлею и хотела преобразовать простой пасторский дом по планам Арлея Галля, где содержалось тридцать слуг; как она ухаживала за мисс Мэтти во время продолжительной болезни, о которой я никогда прежде не слыхала, но которую я теперь сообразила в уме, как следствие отказа на предложение мистера Голбрука. Так мы толковали тихо и спокойно о старых временах в длинный ноябрьский вечер.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.